

Николай Ольков

---

*Мать сыра  
земля*

---

Собрание сочинений. Том 6



Николай Ольков

**Мать сыра земля.  
Собрание сочинений. Том 6**

«Издательские решения»

**Ольков Н. М.**

Мать сыра земля. Собрание сочинений. Том 6 / Н. М. Ольков —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836278-1

Николай Ольков предложил читателям повесть неожиданную и, я бы сказал, — странную. Строгий реалист, знающий все закоулки быта, нравственности, жизни вообще, он уходит от общепринятых приемов и ставит своего героя в обстоятельства и состояния, близкие к безумству. Причем делает это так аккуратно, что только потом, когда пройдена уже половина пути, вдруг понимаешь, с кем имеешь дело.

ISBN 978-5-44-836278-1

© Ольков Н. М.  
© Издательские решения

## Содержание

Мать сыра земля	6
Конец ознакомительного фрагмента.	20

**Мать сыра земля**  
**Собрание сочинений. Том 6**  
**Николай Ольков**

© Николай Ольков, 2017

ISBN 978-5-4483-6278-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Мать сыра земля Повесть

Дед Максим любил рассказывать эту историю, потому что остался самым старым в деревне и, пожалуй, один помнил деда Маркела и его повествование.

– Деревня наша как будто убежала от кого, да она и на самом деле пыталась от большой воды схорониться, спервоначалу обосновалась между двух озеринки, так, ежели сурьезно, то лужицы, не больше того. На этом берегу чихни – с того здоровья пожелают. Но рыбешка в них водилась, опять же не из благородных, но рыба едовая и во всех видах съедобная. Имя ей будет карась, не седни, ни вчерась. О рыбе этой и как ее добывают, а пуше того, как поедают наши деревенские, я как-ниабудь особо распространюсь, а сейчас про деревню. Сказывал эту быль дедушка покойный, а он сто пять годиков прошарашил по земле, в семьдесят женился на молодухе, да еще двоих ребятишек изладил. Знамо, шептались, что помогли, мол, добры люди, но, когда ребятишки подрастать стали, сумлений не сделалось, наших кровей, что парень, что девка. И взгляд суровый, и речь с хрипотцой, как будто скомандовать чего хотят либо дельное посоветовать. Тогда и разговоры утихли. Да чего об этом, молодуха кажнное утро с улыбочкой на крыльцо выходила, потянется, бывало, аж в пояснице хрустнет.

– Ты бы, Апросинья, морду-то с утра не кривила, все хошь чего-то изобразить непонятного, – проворчит поране вставшая Евдокея, снохой она доводится Апроше, хотя годков-то поболее будет. Двор один, управа у каждого своя. Вот надо же, как жили: отцов дом как корень, сынов рядом, другого сына обочь, дочь замуж выдали – желательно и зятя припрячь, и ему дом. А ограда больша, заплотом обнесена, в каждом углу навес, рядом тепляк для коров с телятишками и легкий двор для лошадей. Так вот, дед Маркел Епифантьевич как-то рассказывал, мы еще сопливые были, а слушали люди справные, солидные, и мы между них. Сказывал, что отец его Епифан Демидович шел в эти края аж от Онежского моря, он грамоте был обучен сурьезно, показывал мужикам холстину, по которой изображен был тот путь. И за место это земельному начальнику преподнесена была икона древнего северного письма, вся в золотой ризе и камнями изукрашена, начальник тот за подарок поклонился, икону развернул от руковерта расшитого и приложился трижды с крестным знаменем. Сказал, что примет и сохранит, а как церковь построит общество, то привезет икону и на коленях к иконостасу приставит. Так и сделал потом, не обманул.

Первые дома срубили по внутренним берегам озерков, хоть тот человек упреждал:

– Мужики, не льстите на видимую удобу, не жмитесь к воде, потому как бывает в пять годов раз большая вода.

Наши, конечно, понятия не имеют, с водой знали с мальства, вперед плавать умели, чем ходить, а тут пужают. Но человек разьямчил, что большая вода стихийно приходит и все забирает, и живое, и недвижимое, а приходит потому, что в дальних китайских краях с гор истекают ручьи, в казахских горах весной воды вниз падают, тихой рекой приходят вода в долину и так же тихо вытекает к северным морям. Только случается, много снега и льдов плавится под горным солнцем, воды смывают и скот, и посева, людей смывают, аулы и кишлаки, под заунывный плач осиротевших баб вода скатывается в долину, и нет тут ей никаких преград. Высоченным валом идет, со льдом, звуки издает пугающие. Диковинные и жуткие рассказывал человек истории, что и стога неслись, и бани, и мосты сланские со скотиной, и даже волчица с выводком спасалась на вывороченном плетне. Через три лета случилось, ночью загрохотало, как майский гром, хотя какой гром, апреля середина. Повыскакивали, и при ясной луне узрели наиболее глазастые, что белый вал идет на деревню. Ну, вал – дело знакомое, только в море можно баркас в лоб волне поставить, а тут дома, скотина и ребятишки. Сообразили, запрягли

несколько телег, орду побросали, барахло какое, и в гору. Скот тоже погнали, лошадей выпустили, те поумнее, сами спасенье найдут. Двух улиц лишились, вот тогда и подалась деревня в гору. Получилось, как будто разбежалась, да силов не хватило, так на полдороге и остановилась.

Вот так мы в этих краях образовались, так и род наш попёр, слободный да работающий. Акимушкины далеко знамениты были маслом коровьим живым и топленным, заграница сторовывала пудами, да мясом, да пашеничкой, да мукой-крупчаткой, такой, что булки из той муки, бывало, хозяйки из печи вынуть не могут, так поднялись, что не входят в печное устье. А отчего? От того, что робили мы от зари до зари, на солнышко не заглядывали, а только по команде старейшего можно было остановиться. Вот и вам, робята, предстоят дни и годы трудов и радостей на родной матушке – сырой земле.

Ты, Лавруша, совсем маленький, слушаешь, и сладко тебе от той истории и того завтрашнего радостного дня, который обещает дед Максим, старый и седой с головы до бороды, даже брови кустистые взялись белизной.

Сможешь ли ты вспомнить, Лаврентий, напряги тугой звенящей жилой свою память, до мозгового простука, до физической боли напряги, отринь все земное, но вспомни, накормил ты тогда солдат пригоревшей своей кашей? Накормил или нет? Если опять придет убитый ротный – что ты ему скажешь? И нет тебе покоя, тысячу раз проклятый и прославленный простым солдатом повар, от которого зависела половина жизни ребят. Они всегда ругали тебя, что в санчасть бегаешь к девчонкам, а каша в это время от возмущения вся горит. Ругали, конечно, шутейно, у кого на войне язык повернется против повара, а тем паче – рука. Поваров не били. Но ты-то знаешь, что следовало бы иногда выправлять нехорошую линию ихнего поведения, когда, к примеру, в соседнем батальоне повар сахар вполовину стаскал связисткам, и масло тоже. Ты ведь тоже получил ко дню рождения товарища Сталина пол-ящика молосного, у вас в деревне не называют сливочным, а молосным, ну, молочным бы надо, да и так ладно. Ты все поделил и раздал, рядом со старшиной, тот спирт разливал, так и отпраздновали хорошо, если не считать вечерней атаки налетевших мотоциклистов и троих наших, которым ты тоже копал неглубокие ямки.

А в тот злопамятный день варил ты перловку с зайчатиной, утром снайпер Вася из северных народов принес, бросил у тележного колеса:

– Вот, Ларион, добавка к паре фрицев, уже на свету выскочили порезвиться, ну, я и не устоял. То ли охотничья заросшая страстишка пробилась, то ли мясного захотел. Обладить-то умеешь?

Ты тогда сильно возмутился:

– Да я этого зверя столько туш перевешал, что счету нет! Что мне заяц? Я кабанов драл, лося самолично свеживал, до медведя дело доходило...

– Не дался медведь? – устало спросил снайпер Вася, широколицый, узкоглазый, суровый с виду, добрый, как ребенок, а вот кто научил под шкуру лезть? Конечно, около русского брата нахватался, приемыш хренов. Пришлось отвечать, иначе при ребятах припозорит:

– Я, Вася, на медведя не ходил, он на меня вышел, когда мы с семьей сена косили в лесах. Вечерком пошел я в кусты, присел, как положено, тоскую. Тишина такая, что даже комаров нет. Выпротался я во весь рост, а он передо мной стоит, и морду приподнял, нюхает. Думаю, и спасло то, что сотворил дух ему неприятный, фыркнул он от брезгливости и подался в лес.

Вася не смеялся, только ощерил свои желтые кривые зубы и чиркнул слюной:

– Медведь умный.

Ты так возмутился, аж привстал со своей чурочки:

– Умный! А я потом с корточек не вставал всю ночь.

Вася уже почистил винтовку и котелок подает. Осталось от ужина каши на доньшке, остатки сладки, наскреб, к огню поставил, ложку масла плеснул из бутылки.

– А куда батарею девал, повар? Разбежался народ?

Ты объяснил, что дан был приказ сниматься с позиции и уходить в направлении поселка, это километров пять. А ты оставлен готовить обед, потому что после перехода возможно, батарея сразу вступит в бой, а после боя у солдата две нужды: пожрать и поспать. Вот первую и обязан удовлетворить, так, кажется, сказал капитан, ухвативший на всякий случай банку американской тушенки.

Ты еще вчера заметил под леском кучки земли от сусличьих норок, значит, живут большим семейством, место высокое, хлеба года два никто не сеял, но из падаликаросло, сам на ходу ухватил горсть – пшеничка никакая, колосок жалкий, зернышко сморщилось, усохло, но все хлеб, если совсем ничего. Тем и пробивалась сусличья порода. Ты же в молодости на всякую охоту был способен, особенно после коллективизации, когда корову и овечек и все тягло забрали, и землю, и запас зерна. Кто похитрей – сбагрили пашеничку втихую киргизам петропавловским, и скота много сумели увести, пока доперла власть, что очищается единоличник от содержания, как умирающий при последнем издыхании выгоняет из себя все и по-легкому, и тяжелее, чтобы перед Богом предстать в чистоте телесной, а до душевной – другое дело. И твой отец был не из праведников, сказал, что хоть всякая власть и от Бога, но дожидаться не стал, все хозяйство спустил с рук, в сусеках можно в чику играть. Пришлось голодовать вместе со всеми, хотя стратегический запас к тому времени отец уже создал, только вы не знали. Вот тогда и подсказал старик Шатила, одинокий, безобразный:

– Пошли, Ларька, со мной, научу тебя от голода спастись.

Пошли вы вечером на Кизиловку, тут раньше ребятишками сусликов из нор выливали. Днем зверьки по домам сидят, вот ребетня и льют в нору воду. Бывало, что папаша ихний хлебает, сколько может, а потом вылезит и бежит в сторону, раздутый и страшный. Ткнет кто палкой в брюхо – вся вода вытечет. А семейство той минутой в разбег, кто куда. Выходит, спасал папаша семью свою, во как. Бывало, выльют в нору одно ведро, за другим сбегает в соседнюю лягу, а нора уж полная. Только потом объяснил Шатила, что суслик своим телом перекрывает нору в узком месте, а другие тем временем спасательный ход роют.

Шатила показал, как надо петли вязать, чтобы суслик обязательно попался, как петлю крепить, чтобы зверек с ней не убежал. Ты тогда все перенял, и тех сусликов носил домой по паре, а то и по две в день. Мать поначалу отказалась суп варить из нечистого мяса, но отец молодец, растолковал, что суслик есть суть чистойшей животины, потому, как пташка божия, питается природным зернышком. Ты тоже поначалу брезговал, морду воротил, а с голодухи как-то хлебнул ложку, вослед другую, ничего, получилось. А суп в самом деле наваристый был, приходилось на засов запираяться, чтобы не увидел кто случайно да не сдал властям, что свинину жрут втихоря от остальных голодных колхозников. Кроме того, Шатило научил выкапывать по осени сусличьи гнезда, в которые они натаскивали запас зерна на зиму. Ты сильно удивил и напугал отца, когда приволок в мешке не меньше пудовки пшеницы. Перехвати недобрый человек – тюрьма...

Вася поел каши и выпил кружку чаю с сахаром, винтовку свою рядышком положил, и, как с молодой женой в обнимку, уснул. Велел только разбудить и с собой взять, когда к поселку поедешь.

Что же дал? Ага, сходил на свой помысел, трех штук принес, быстро освежевал, в отдельном котелке сварил, обобрал мясо, а кости прикопнул, не дай Бог, кто увидит, со свету живут. Вареву то в суп кинул, смотришь – и зайчатина повеселела, верх мелкими звездочками подернулся. Хлебнул ты того супа и удивился: до чего к душе, вот порадуются мужики!

Ты тогда еще насобирал дровец, валежника разного да прутьев, это хорошая была привычка, потому что на новом месте, случилось, вообще никакого топлива не оказывалось, а то

еще чище – дождь пойдет. А солдат и в ненастье есть хочет, похлеще, чем в ясный день. Потом Васю поднял, тот на повозке приспособился за теплым термосом и захрапел. Ты тогда еще травки подкосил для Серухи, лишней не будет, запас карман не трет, поймал гулявшую рядом кобылу, запряг в повозку, сел на облучок и покатил. На ходу соображал, что хлеба еще и на завтра хватит, а если не подвезут, то мешок сухарей всегда в запасе, заварка есть, да для чая сейчас смородинный лист – милое дело, кто понимает. И неожиданно для себя улыбнулся: елки-палки, это же тебе шибко повезло, что бывшего кашевара особист увел, сказал, что лазутчики кинули в батарейный котел какую-то яду, от которой сдохли бы все мужики, а повар то ли в сговоре, то ли бдительность посеял. Жранину ту вывалили в яму и зарыли, солдатиков тушенкой отоварили, банку на двоих, а повара того больше никто и не видел. Поговаривали, что офицеры трехлитровую фляжку спирта ночью под ей-Богу взяли у кашевара, а после трекнулись. Почему фляжка у повара сохранялась? Да, видно, старшина попросил придержать, сам куда-то отлучался. Вот отчего старшина именно тебя избрал изо всех – то неведомо. Угодил, видно, когда-то, вот и поручил. Сказал, что варить научишься по ходу жизни, пару дней терся тут паренек вихрастенький из соседней батареи, подучивал. Конечно, кое-что ты ухватил, а там понеслась.

Вон батарея, под деревней обосновалась, удобная позиция, фашистам за домами не видать. Ребята уж земли нарыли – горы, тут и под орудия, и для землянок, и ходы сообщения. Кухню увидели издалека, кое-кто приветно пилоткой помахал. Ты уже и место выбрал, где остановиться, и термос открыл, и даже запах мясной вкусный успел уловить, вроде даже двоим-троим успел в котелки положить... Или не успел?

В мирной еще жизни случались в деревне драки. Были два брата Казаковы, Илья да Григорий, как подопьют – непременно драку надо учинить. Да не просто так, а чтобы на всю деревню. Коля из огородной изгороди выламывают, и искать себе супротивников. Ведь находились! Совсем из другой компании мужики, слова против не сказали казачатам, а тоже – жердь пополам, и в Бога мать! Вот при такой драке ввязался твой дядя Проня, не из драчливых, но шибко выпивши был, баба не усмотрела, как он кол сгреб и Гришку повдоль спины отоварил. Гришка взревел, Ильюха орет: «Кто брата хряснул, не жить тому на белом свете!». Тетка твоя и взмолилась: «Ларя, родной, выдерни ты мово из бучи! Убьют его казачата!». Ты и метнулся. Вот тогда первый раз сознание отлетело, потому что по голове, хоть и со скользом, прошла чья-то жердина, вместе со шкуркой прическу шибко испортила, но до мозгов не достала.

И тут точно такая же жердина вдруг сильно ударила тебя по голове, черпак выпал, Серуха взметнулась и пала, брюхо ей разворотило, повозка опрокинулась, ты упал в вывалившееся еще теплое варево. Потом снаряды падали еще и еще, но ты уже ничего не слышал, был высоко над боем, над этой равниной, над Россией. И летал ты как бы безразлично, наблюдал за всем без содрогания, а надо бы. Кончили батарею. Целиком. Как упал на землю, не помнишь, но была боль по всему телу, как нарыв. Только вечером пришла полуторка, похоронная команда зарыла весь личный состав батареи, только тебя признали живым и кинули в кузов.

И что он тебе помнился, этот тобою не виденный бой, временами в ушах вязли крики «Мама!», и рев искалеченных мужиков, мат, прорывавшийся сквозь взрывы, и грохот такой, как будто вся фашистская артиллерия нашла эту точку и обозлилась. Помнится и варево это ценнейшее, что вез ребятам порадовать. И как зайцев драл, и как сусликов трусовато обрабатывал, чтоб не дай Бог не застукали. Одно время являлась в памяти картинка, что хлебают братцы кондер, да еще хвалят находчивого кормильца. Потом совсем другое: взрыв, котел на землю, лошадь лежа рвет гужи, а сам ты летишь и так долго, что даже удивился. Ничего, палто рядом, это душа взлетала, по ошибке на свой счет команду приняла. Тоже ничего, вернулась. Все обошлось, но пришлось по госпиталям потаскаться, все-таки случай, сказывали, редкий, что с человека черепушку сняло, а он живой. Мозги всякий желающий может при перевязке посмотреть, а Ларион при этом спокойно шаренками вертит. Если Гришка тогда только кожу

снял и прическу навсегда изгадил, то фашист дальше пошел, кость скovyрнул. Одни доктора говорили, что не жилец теперь солдат, другие проталкивали все дальше от фронта, в городской госпиталь. И погодись там в эту пору молодой хирург, что он сотворил – разве где в бумагах занесено, только при выписке сказал:

– Я тебе, Акимушкин, такую пластину вставил, что ей сносу не будет. Только поимей в виду: в одном месте не рассчитал, не хватило до кости, получилось как бы полое место. И будет теперь у тебя до скончания века бить родничок.

– Откуль? – испугался ты. – Не из башки же?

– Да нет, – успокоил доктор. – Видел ты у новорожденных на маковке родничок?

Кто же не видел, конечно, знакомое дело, ты даже обрадовался:

– Щупал у младшеньких братишков. Еще говорили, что темечко не заросло.

Врач радости твоей не одобрил, предостерег:

– Так вот, у братишков, как ты говоришь, заросло, а у тебя всегда будет. Место это береги, потому как там до мозгов одна пленочка, соломинкой можно проткнуть. Шапку носи или кепку, иными словами, все в твоих руках.

Правда, руки-то остались, потрескавшиеся, обожженные кипятком и углями из костра, поознобленные в лютые степные морозы, когда даже штрафбат лежит вон за соседней полосой, и немец тоже не дурак в такую погоду «хайлю» кричать, тихо сидит. Один только раз унюхал носатый повар, что пахнуло вкусно, так у него на кухне пахло, когда старшина принес банку порошка, велел заварить, к батальонному какой-то начальник приехал. Осталась банка и слово новое для тебя: кофей. Не доводилось больше, да и так ладно. А повару и в такой мороз суп надо варить либо кашу, потому что русский мужик в мороз жрать горазд. Вот работы никакой, а кашу клади с горькой, да чтоб сало...

Комиссовали аж в Горьком, на Волге, посмотрели, что вроде умом мужик нормальный, врач еще спросил, какие арифметические действия в школе изучал. К чему спросил?

– Какие действия, товарищ военврач? Тимка Легонький где-то болтанул, что в советской школе учат только отнимать и делить, ну, и поехал на угольные шахты, даром, что малолетка. А я уж большой был, когда в школу пустили, младшую группу в церковно-приходской с помощью попадьи освоил.

– А попадьа причем?

Ты улыбнулся, покосился на молоденькую медсестру:

– Дрова ей колол, а когда беремья принесу на кухню, она велела руки отогревать и в разных местах ее трогать.

Военврач захохотал:

– Ну, и как?

Тут ты стусевался:

– Да никак, товарищ военврач. Поп, видно, зачуял что-то, отлучил меня от кухни, другой зарок дал.

Но врач уже завелся:

– А попадьа ничего была, рядовой Акимушкин?

Зарделся давно необнятый, нетронутый женской рукой, нецелованный рядовой красноармеец, и охота было соврать, что и так, мол, и так он эту попадью, наслушался от бывалых, какие фертеля с бабами можно выкидывать, но совесть одолела, и всегда она, совесть, поперед русского человека. Соврал бы – глядишь, другое отношение у военврача, да и медичка тоже зарозовела, ждут. Проглотил сухую слюну солдат и признался:

– Попадья баба была справная, и есть что в руках подержать, и прочее. Но я тогда еще Бога боялся, да и мал совсем был.

Тут военврач с медсестрой уже вместе захохотали:

– Так мал или Бога боялся?

Ты тогда совсем сник, сбился с толку, встал и спросил:

– Мне в палату или как?

Военврач тоже встал:

– Поедешь домой, сейчас бумаги сдам, к утру документы оформят.

Ты тогда сходил в хозчасть, получил обмундирование, правда, не свое, сапоги по размеру и портянки, шинельку стираную и шапку, потому как зима. В палате вас трое осталось, только спать улеглись, медсестра приходит, та, что на комиссии была:

– Акимушкин, – говорит, – тебя приказано в другую палату перевести. Вещи свои оставь, а сам за мной.

Привела тебя в маленькую комнатку, пижаму расстегнула, штаны сдернула и к себе в постель:

– Акимушкин, дорогой, как же ты нецелованный с фронта придешь, когда еще тебе несмелому девчонка сама намекнет? Иди ко мне, защитничек ты мой, я тебя приголублю.

Шарнул руками в темноте, знакомое руки узнают, такое и у попадьи было. Вот как жену из памяти выкинул, что даже тут не дал себе воли сравнить, не дал, да и хорошо это. Дальше плохо помнишь. Под утро увела она тебя в палату. А ты и не спросил, как зовут, может, написал бы из дому.

Только дом тебя встретил плохо. Понятно, про все в письмах не скажешь, а дело совсем никуда. Отца Павла Максимовича в первую же осень вслед за тобой забрали, да тут и лег. Бумага пришла, что схоронен под деревней Приветной. Два младших брата остались после войны не по своей воле служить на освобожденных территориях, посылки кое-какие слали матери. Анна Ивановна писала, что сестры в замуж повыскакивали из шестых классов. А старшой Филька с войны сбег, объявился тихонько, мать котомку собрала, что есть, и отправила. А куда? Где он теперь, зарылся ли, как волк, в нору или шалаш какой сварганил в глухих местах? А может, разбойником издался, он варнак добрый был еще в парнях. И что, если так? А далее куда? Ты тогда сказал матери, точно сказал, потому что долго об этом думал, а потом перестал:

– Надо Фильке властям сдаваться, все едино отловят и к стене, а так, может, снисхождение выйдет.

Мать выла у печи и вытиралась давно не стиранным горшеиком. Тебе шибко к деду Максиму на могилку захотелось сходить, и пытался сходить, попроведать, как заведено, но не пробился, столько снегов намело, что с дороги не сойти. Колхоз солому с горы возит, колея набита, а мимо – по самую ширинку, не ступить. Постоял, поглядел в тот угол, где деду место отведено, да и подался назад. Конечно, место наше, семейное, тут все Акимушкины зарыты, так заведено в деревне, что у каждого свой край. Отчего умер человек, никто и не спрашивал, нету разницы, от какой причины. А вот Филька дуру сгородил, погинул бы на войне – матери какая-никакая пособия вышла, все полегче. Да и от народа страшно, считай, в каждой избе зеркала позавешены, а тут живой и блудит неизвестно где.

Вечером прибежала Наташка Цыганка, от тебя занавеской кутней задернулись, шептались с матерью так, что посуда звенела. С Наташкой только в разведку ходить, она хриповатая и быстрая на язык, так что весь рассказ слышно было, как на собрание. А дело в том, что приехал к Наташке ухажер еще с довоенной вольной цыганской жизни, и сказал, что Филька живет на кордоне у лесника под Бугровым. Цыган сахар на овес менял у того лесника и Фильку высмотрел. У матери опять слезы, а ты всю ночь тыкался мордой в свернутую куфайку, перины и подушки мать в войну продала, выменяла на муку или крупу, уже забыл. Тыкался и думал, что надо как-то брательнику пособить, а вот как – ума не хватало. Только начинал сильно думать, душевно – сразу заскребется какой-то насекомый в голове под шкуркой, шуршит, тукат, как

будто выпростаться хочет. Тогда ты переставал, и правильно делал, потому что от головных мыслей и не такие люди с ума спрыгивали. Вон Ефим Кириллович, не нам чета, до войны кладовщиком был, первый человек после председателя, а на фронте чем-то тяжелым немец по голове угадал, привезли Ефима, а он хуже ребенка, даже до ветру не просится. Ведь какой человек был – не достать, а под себя ходит.

Ты утром лыжи с крыши достал, хаживал до войны на охоту, широкие себе изладил, скользкие, сами бегут. Полбулки хлеба и луковицу под куфайку спрятал, когда лыжи наворстил, мать увидала:

– Ты с чего это лыжи добыл? Не петли на зайцев?

– Петли. – И тронулся со двора. А мысль была такая, что надо дойти до Бугровского кордона, дорогу ты помнил, найти Фильку и хоть узнать, что он дальше-то думает. Цельный день шел, отвык, ноги вываливаются из сиделки, да и красота вокруг знакомая и забытая. Березы стоят в куржаке, толстым слоем ветки и листочки неопавшие прикрыты, ты помнишь, что старые люди не велели куржак сбивать. А забава эта интересная, бывало, гурьбой уберутся в лес, это с предзимья, когда еще пешком можно все обежать, девчонки увяжутся, которые женихаются, те приотстают и лижутя. Спрячется кто-то с доброй колотушкой за березой, когда пара подойдет, он и стуканет по стволу. Весь куржак лавиной скатится с дерева на молодняк. Визгу, смеху... А про то, что нельзя иней стряхивать, дед Максим учил:

– Иней, сынок, куржак по-нашему, упасает веточки и почки будущие от морозу. Так природой предусмотрено, что иначе погинут. Оттого и баловаться не надо. Оно, знамо, любо глядеть, как валится белое да чистое, только вреда больше от этого, чем радости.

Дед Максим давно помер, но ты его помнишь. Он, когда совсем старый стал и по хозяйству не работал, летом запрягал в телегу смиренную Пегуху и уезжал в Акимушкины избушки, место так звалось, потому что Акимушкины испокон веку, как начали леса выжигать, тут обособовались. Рай земной, а не надел. Тут для пахоты местича необозримо, надо только дюжину дерев убрать, что на дрова, а что и в дело, распилить и в деревню, к дому, пригодится в амбаре или в пригоне окладник заменить. Потом еще трудов немерено, до пашни надо пни вырыть, ямы заровнять, пни собрать да сжечь, потому что от них, если гнить начнут, всякая нечисть может завестись. Тут и пустоши для сенокосов, дед Максим до последу терпел, все ходил по полянам да пустошам, мял в ладонях-жерновах колоски трав, только потом говорил:

– Седни станем литовки отбивать, ты, Павлуша, каждую проверь, чтобы в работе не стоять. Первая за Пудовским озером пустошка осыпала семена, надо косить. В иных местах тоже поспевают, так что лежать некогда.

– Дак мы, тятя, с весны еще и не леживали, – осторожно возразит отец. Лаврику даже сейчас интересно, отец уже четырежды родителем был, а деда побаивался, не перечил, в работе жалел. Уже в избушках перед первым закосом говорил:

– Ты бы, тятя, вставал последним, и косил влеготку, а в середине такой слободы нету.

Дед мимо ушей пропускал совет, выговаривал:

– Пока могу, буду за Филькой идти, он из всей природы самый тяжелый, вот и подрежу пятку раз-другой, ястребом станет летать над кошениной. Скажи ему, чтобы барана заколол вечером, свежее утром сварят, а остальное сам посоли, бабам не доверяй.

Барана привезли из деревни, когда последний раз ездили к обедне. Одну службу дед позволял пропустить, а на другую ехали все, только караульщика оставляли. Бывало, в посевную всю неделю дождь моросит, не дает работать, а в субботу выяснит, ветерок пашню обдует, с утра можно выходить боронить да сеять, а у деда служба. Чуть свет запрягает отец иноходца по кличке Красный, потому как шибко рыжиной отдавал, все усаживаются в дрожки, и через час уже дома. Колокола звонят, вся семья оболокается в праздничное, мужики штаны с чистой рубахой, бабы сарафаны скромные и платки, по улице идут степенно, ни с кем не разговаривают, только поклоны в разные стороны. Церковь уже полна, на клиросе хор что-то бормочет,

настраиватся, вроде все молчат, а звук в храме есть. Дед Максим сказывал, что это Господь смотрит, кто пришел, а кто уже отвернулся от Бога. Вдруг замерло все, врата открылись, и священник, сияющий, как ангел, только что спустившийся с небес, густо пропел:

– Мир всем! Миром Господу помолимся!

Ты стоял с правой стороны, где положено размещаться мужчинам, искоса подглядывая за дедом, чтобы креститься вместе с ним. Не дай Бог пропустить поклон или знамение – тот заметит и потом расскажет, что черти очей своих выпученных не спускают с паствы, так и ловят каждого, кто отступает от устава, примечают, а потом тихонько явятся: «В Иисуса Христа ты веришь понарошку, крестишься невпопад, дак переходи к нам, у нас вольница, никакого Бога нет, можно не робить, а воровать, можно мать и отца не почитать, а жену променять на соседку». Ну, тебе это пока не грозит. А ты ухватывай службу, когда поклон, когда в пояс, когда на коленях. Бывает, по литургии, что следно глаза закрыть от стыда за грехи свои и плакать, да не напоказ, а чтоб сам Господь не видел, во как». «Тогда для чего реветь, если он не увидит?». «Он не увидит, а знать будет. И когда я приду к нему, и спросит он: «Раб Божий Максим, все ли ты делал в земном бытии так, как я велел?». Отвечу: «Ты сам видел, Господи, можа, чего и не совсем так, но не во зло, а по недоумению». Вот тогда он простит и кивнет Архангелу Михаилу, мол, отвори врата рая, этот удостоен».

После службы чинно выходили из храма, бросали нищим медные гроши, обнимались с родственниками. Далее дома был обед, съедалось все, потому что с раннего подъема на пашне маковой росинки никто не слизнул. А потом общий отдых. Падали кто где: молодежь под сараем, старшие в доме. А уже вечером со всех улиц деревни тихонько шли телеги и дрожки с отдохнувшим народом. Ты слышал, что единожды отец дернулся возразить деду:

– Неделю погоды ждали, давай, тятя, отсеемся, а потом и отмолим свой грех.

Дед Максим потербил свою негустую бородку и ответил:

– Пашка, тебе к сорока годам подпират, а хребтина не окрепла. Останемся, поседем, а что после? Ты забыл, как высыхало все сеяное и только чернобыльник дурил на пашне? Забыл, как саранчу приносило по воздуху, и падала она на наши поля, когда Филька соседскую девчонку изнахратил. Только миром деревня отстояла его от веревки, не оказалось у сиротки заступников. Но свое наказание мы получили, и я про то знал. И есть страх, что тем все не кончилось.

В стороне Филя тихонько зарезал и освежевал барана. Отец принес все литовки, дед Максим выволок из-под крыльца березовый коротыш, в торец которого вбита маленькая наковаленка. Угнездившись на низенькой табуретке, дед несколько раз опробовал отбойный молоточек на наковальне, звуком остался доволен, подхватил литовку, развернул, как надо, и ловкими мелкими ударами стал оттягивать жало косы по всей длине. К концу коса щерилась неровностями, как наджабленными зубами, но ты уже знал, что завтра косари быстро выправят это брусками.

Ты с детства любил покос. Вставали так рано, что только край востока чуть светлел, сонно собирали литовки, бруски точильные, воду в ладейке, корзину с хлебом, зеленым луком и куском баранины на обед, и гуськом шли на пустошку. Роса так заботливо смочила каждую травинку, так щедро залила тропу, что вода хлюпала в промокших лапотках. Дед Максим шел передом, и шептали что-то губы его, ты видел с боку, шептали молитву, дед вчера тебе ее прочитал. Остановились у опушки, дед скомандовал:

– Паша, благословясь, начинай ровненько, чтобы ручка по всей полянке прошла, а клинья потом выкосим. Ну, дети мои, настал день, сказано: коси, коса, пока роса! Вот какая нам удача, что утро росное. Это добрый знак. Благословляю всех, и с Богом начали.

Ты еще не умел косить, и тебя на другой день не поднимали так рано, но ты просыпался чуть свет, надевал штаны и бежал по еще непросохшему следу. Солнце начинало выползать над лесом, обещая хороший день, и косари не отдыхали на длинном прогоне, на ручке, и только дойдя до леса, каждый доставал брусочек и, воткнув литовище в землю, одной рукой осторожно,

как бритву, брал косу снаружи за самое жало, другой аккуратно обихаживал блестящее лезвие с обеих сторон. Потом надо было пучком сырой травы вытереть холодный металл и быстро приступать к работе.

Еще из того времени помнился суп с бараниной, дома такой не варили, а тут картошка, лук и куски свежего мяса.

Изба была срублена добрая, мох в пазах слежался, был толщиной в палец, изнутри избы аккуратно срезан, а бревна отполированы до блеска. Были широкие нары и полати. Небольшая русская печь, сбита дедом Максимом из сырой глины, в ненастье и непогодь грела, тут же варили в ведерных чугунках еду для всех работников, пекли на горячем поду плоские ржаные булки. Дед Максим говорил, что работнику надо ржаной хлеб потреблять, это на гулянке можно ситным баловаться. Чуть в стороне баня по-черному, просторная, чистая, потому что сестры после каждой топки промывали стены с песком. Тут же навес для инвентаря, ясли для лошадей. В стороне колодец глубокий и вода чуть солоноватая. Отец посылался перекопать колодец в другом месте, дед отсоветовал:

– Соль в водиче, сынок, никому не повредит. Если хочешь знать, нас в армии специально солью кормили, ложку с утра сглотил, и весь день сухой и тяги к питью нет. Соль и скотине полезительна, гляди, как лошадь пьет, бадью без отрыва. И корове надо соль давать, говорил один грамотный, что есть такая соль каменная, корова лижет, и молока больше. Не тронь, пусть стоит.

...Деревню на пути ты обошел стороной, чем меньше видят, тем спокойней. К полудню утомился, отвязал лыжи, утрамбовал место вокруг еще довоенного пенька. Хлеб и луковица не замерзли, пожевал, иногда прихватывая морозный снег. Сидеть долго не рискнул, по фронту знал: если усталый присел, можешь и не встать. Нацепил лыжи, вышел на санный след. В голове все крутилось: об чем говорить с Филькой, об чем просить? Чтоб мать пожалел? Чтобы семью не позорил? А это Фильке надо? Ведь он три года уже покойником живет.

К Бугровскому кордону вышел к вечеру, зло, остервенело, с хрипом залаяли собаки, мужик в меховой безрукавке, видно, со скотиной управлялся, вышел из теплой стайки.

– Кого нелегкая на ночь глядя? – сурово спросил.

Ты тогда подошел поближе и через высокое прясло сказал почти шепотом:

– К брательнику я, к Фильке, а сам буду Лаврентий, Акимушкины мы.

Мужик смутился, но ненадолго:

– Брательник твой ко мне в гости уезжал или как? У меня таких друзей нету, так что, мил человек, иди со Христом, а то кобелей спущу.

Ты тогда тихо сказал от усталости или от безысходности:

– Филька у тебя с начала войны живет, нам цыган сказал, который тебе сахар привозил.

Мужик взревел:

– Если не уйдешь, спущу собак, а и уйдешь, дак забудь, что я есть. А цыгана твоего к утру жизни решу, чтоб без свидетелей. Убирайся!

И тут ты услышал знакомый голос, родной, можно сказать:

– Обожди, Кузьмич, это в самом деле брат мой, но он безвредный, голову ему нарушили фашисты, инвалид, хоть чего пусть плетет – веры ему не будет. Это я от надежных людей знаю.

Хозяин выматерился:

– Смотри, Филька, ежели что – я тебя не знаю, прибился, работал, лишнего не позволял. Я вывернусь, про себя подумай.

Филипп отошел в сторону и открыл воротца:

– Со свиданьем, брательник. Проходи вон в ту избушку, мы скоро управимся, поговорим.

Ты чиркнул спичку и снял стекло с маленькой лампы, зажег фитиль. В избушке тепло, но жильем не пахнет, все пропитано табаком и еще чем-то, чему ты не знал названия. Небеленые стены и грязный пол наводили тоску, но ты устал, присел на братов топчан и уснул. Проснулся от стука двери и ворвавшегося холодного воздуха.

Филька сильно исхудал, до войны был даже выше и в плечах шире, лицо сбежалось, сморщилось, глаза сухие, острые, злые. Они и до того добрыми не были, дед Максим все удивлялся, в кого это Филиппка такой уродился. Молча поставил на плиту чайник и подкинул пару полешек дров, сел на табуретку супротив топчана:

– Ищут меня дома? – спросил безразлично.

Ты встал с топчана:

– При мне не бывали, но мать говорит, что чуть не каждый месяц.

– Мать-то как?

– Плохо. Все ревет, да и жрать нечего. Фрол и Кузьма все служат, девки в замуж повыскакивали. Вдвоем мы. А ты как? – зачем спрашивал, и сам себе не объяснил бы. Чего тут неясного? Худо Фильке, и без слов понятно.

Филька оторвал клочок газеты, засыпал круто рубленным самосадам, от печного угля прикурил, вонючий дым заполнил пространство.

– Если бы, Лаврик, мне до смерти так жить, то лучшего и не надо. Хозяин кормит вволю, бабу привозит, банька есть. Тоскливо, конечно, но говорю, что жить можно. Но эти сволочи и тут роют, с осени трижды приезжали, едва успеваю спрятаться.

Ты удивился:

– А куда тут скрыться, братка, ведь кругом лес, все следы пишет.

Филя засмеялся, выпустил густой дым, ответил:

– Что лес? Вон, в подпол сунусь, они дверь откроют, нюхнут и обратно. Значит, нет у них никакой наводки, так, в порядке надзора. Ты думаешь, я один такой? Да тысячи!

Ты не подумал и сказал невпопад:

– В деревне ты один, да и не слышно в округе, все больше поубивали да покалечили.

– Вот! – Филька вскочил. – Вот и ответ: покалечили да поугробили. Я только в одну атаку сбежал, и мне на всю жизнь хватит. На нас танки с автоматчиками, а у меня винтовка и семь патронов. Упал в яму от снаряда, а он, гнида, комиссаришко, меня наганом оттуда, мол, вперед, за родину, за Сталина. Я его и шлепнул. А когда все успокоилось, подался в сторону, думаю, может, повезет, на немцев нарвусь. Нихрена подобного, кругом комиссары. Я, Лавруша, полгода до дома добирался, а сюда подался, потому что мы с Кузьмичем до войны вместе баловались, магазины брали, кассиров глупых.

– Убивали, что ли?

Филя опять засмеялся, вроде как успокоил:

– Нет, слезы вытирали и домой отводили. Дурной ты, что ли? Я только для сельсовета справку добывал, что на производстве вкальваю.

Тебе стало жутко, перевел разговор на другое:

– Робишь тут чего?

Брат сразу согласился на перемену:

– Все делаю, иногда со злости ухожу в лес, дрова рублю. Пилу себе изготовил с одной ручкой, типа лучковой. А так по двору, у хозяина скота полно, спать некогда.

Ты все искал, как спросить о главном, для чего и пришел, помялся, спросил осторожно:

– А думы? Думы у тебя бывают?

Филя вскинул голову:

– Об чем? Об матери иногда вспомню, о доме. А так – какие думы?

Ты обрадовался, что брату интересно об этом говорить, поспешил с пояснением:

– Жить-то как, Филя? Дале-то у тебя ничего же не видать. Так и будешь?

Филя вскочил, схватил тебя под горлом за широкую матерью связанную кофту:

– А ты не предложение ли пришел мне сделать от имени советской власти, чтобы я обналичился, а они потом меня принародно хлопнули? Ты лягавых с собой не привел?

Ты едва выпростался из грубой хватки, откашлялся:

– Братка, у меня полчерепа чужого, мозги почти наголе, хватай поаккуратней. Никого я не привел, никто и не знает, где я. А думы у тебя должны быть, не может человек без думы. Тем больше, что грех на тебе.

Брат опять поднял на тебя удивленные глаза:

– Какой?

Ты знал только один:

– Человека того убил в воронке.

Филя хохотнул:

– Дак я и до того убивал. И что теперь? В монастырь идти, грехи замаливать? А нашего брата тысячами положили под фашиста – это как?

Надо брату объяснить, чтобы совестно ему стало, а вот как сказать то, что самому ясно до ниточки?

– Это никак, Филя, это выше нашего ума дело, а тут ты, вот, живой человек, убивал раньше – все бы искупилось войной, а ты смотался. Отец с братом на фронте, а ты сбежал. Это как? Получается, что отца предал, брата.

Филя опять невесело хохотнул:

– Прибавь еще, Лаврик, что родину предал. Прибавь. Тебе бы в комиссары податься, в партию вступить, гонял бы нашего брата в атаку, а ты череп свой убережь не сумел.

Ты поправил на голове вязаную шапку, которую одевал под большую, из собачьей шкуры. Молчал.

Филя нарушил тишину:

– Посоветуй, братан, раз пришел в такую даль, что мне делать, вот как брат брату – посоветовай.

Ты не услышал в просьбе брата ничего опасного и сказал тихо:

– Идти с виновной головой в органы, отrobiшь на лесоповале, а не на этого бирюка, и возвернешься.

Что-то тяжелое и темное упало прямо на твое лицо, ты свалился на топчан и затих. Кузьмич, все время стоящий под дверями, вскочил в избушку:

– Убил, что ли?

Фильку колотило:

– Не вынес, ударил, да, видно, шибко. Прислушайся, дышит?

Кузьмич наклонился над топчаном:

– Здышет. И куда теперь с ним? По мне – в сани и в лес. Кто искать станет?

Филька сидел и открытой печки и жадно курил:

– Не дам убивать. Очухается – пуцай домой идет, слово возьму, что не продаст.

Кузьмич засмеялся:

– Слово он возьмет! А если сдаст? Обоим крышка, Филя! Если все наши поскакушки поднимут, то и судить не будут, сразу шлепнут.

Вот это, что сказал Филя, ты уже слышал:

– Я, Федор, смерти уже не боюсь, я жизни боюсь. А Лаврик не скажет, он у нас в семье самый чистенький был.

Ты пошевелился и хотел встать, Филя поддержал под мышки, умыл над поганым ведром.

– Чай будешь?

Ты выпил кружку сладкого чая с белым хлебом, намазанным маслом, и лег спать. Филя примостился с краю, подставив табуретку, чтобы не свалиться.

Утром вы вместе вышли на дорогу, ты в охапке нес лыжи, Филя шел молча, дымя самокруткой. Как хотелось заговорить о главном, о жизни, о родном доме. Филя ведь тоже могилы отца не видел, сели бы за стол, налили из банки бражки, выпили, не чокаясь, как на фронте над могилами друзей-товарищей, если позволяла обстановка. Потом бы женили Филю, вон сколько свободных баб, да хороших, работающих, здоровых. И матери бы полегче... Ты забыл тогда, что брательнику надо вперед ответ держать за побег свой, а уж потом... Хорошо, что вслух не сказал.

– Отсюда один пойдешь. Никому ни слова, Лавруша, я за тебя поручился перед Кузьмичом, он ночью цыгана того зарезал. А тебя я не дал. Даже матери молчок. Поревет и забудет.

Он развернулся и пошел, не оглядываясь. Ты нацепил лыжи и свернул в лес. Декабрь, скоро Рождество, большой был праздник. Почему-то тебе все больше из детства приятное вспоминалось. Наверно, потому что в иные годы и не было ничего доброго, сладкопамятного.

Это еще в единоличные времена было, Акимушкины пахали на своих наделах тридцать десятин пашни, ты совсем малым был, без штанов лазил, следом за отцом или за дедом ходил свежей бороздой. Земля мягкая, жирная, плужок ее отвалит в сторонку, основание ровное и плотненькое, детская ножонка только влажный следок оставляет. Ты любил присесть на нетронутую твердь, ноги в пахоту засунуть и ждать, когда отец или дед круг сделают и нарочно грубым окриком тебя сшевелят, мол, бездельник, шел бы лучше сорок зорить.

Ты уползал иногда на середину пахоты, чтобы никому не мешать, разгребал осторожно потревоженную землю, выбирал росточки беленькие, складывал в рубаху, а еще выискивал червяков, и простых, которых на рыбалку копали за огородами, и толстых да жирных, противных. Отец давить их не велел, говорил, что они едят вредных для хлеба червяков и мошек. А корешки потом раскладывал на крылечке при избушке, получалось, что на пашне рядом живут много всяких трав, хотя хлеб еще не сеяли. Отец выбирал минутку, притулится, бывало, на ступеньке, ноги вытянет, и станет тебе говорить:

– Вот это, Лавруша, все для человека травы ненужные, а для пшенички и проса вредные, они хлебу расти мешают.

Вечером, когда уже укладывались спать, дедушка Максим после молитвы прилег с тобой рядом и шепнул:

– Завтре не проспипи, за бороной стану учить ходить.

– На Пегухе?

– Хошь – Пегуху запряжем, тут-ка на все наша воля. Отцу я уж сказал, он согласен, что пора тебя к делу приучать.

Вот нехитрое, вроде, ремесло – лошадь в постромах тащит легкую боронку, а ты шагай сзади вприпрыжку, потому что шагом не успеть за Пегухой, мал еще, ножки короткие. Шагай и вожжиной поправляй, если след со следом не совпадают, да на развороте следи, чтобы борона не перевернулась. А если набились палки или огарки пеньков, то борону следно перевернуть, а мусор отбросить подале от пашни. Отец потом специально проедет с телегой, соберет. Нехитрое, а к обеду набегался, в глазах метлячки. Дед Максим боронил рядом на паре лошадей и сцепом, Пегуху спутал и пустил в лесок, тебя умыл у колодца, посадил на колени, пока сестра кашу с бараниной доваривала.

– Пристал, работник? Ничего, своя работа не тянет. Это боронил бы ты хозяйское поле, чужое, там совсем другое на душе.

– А где это – на душе? – спросил ты, едва слыша свой голос.

– На душе – это, сынок, как во храме стоишь и сердце твое ликует, следно, душа радуется.

А где она и как на нее глянуть – то не дано.

А ты уж и не слышал, спал, аж всхрапывал.

– Девки, работнику каши оставьте, он, надо думать, крепко промялся, исть запросит.

То было по весне. Потом дружно сеяли, нося на опоясках полупудовые лукошки с отборным, ровным, восковым, освященным семенем, тут же боронили и протаскивали парой коней гладкое бревно, оно катилось в свободных кованных кольцах на торцах и прижимало взрыхленную землю. Ты вместе со всеми радовался всходам, дед Максим в такие дни с поля не шел, молился и радовался, что хлеба хорошо растут, после июньских дождей оправдываясь за робкие всходы густой, крепенькой, многосемейной из одного гнезда метелкой стеблей, а после на каждом образовался колос, зацвел, зазеленел, заобещал. Только дед Максим отца остерегал от высоких надежд: все в руках Божьих, вот сейчас помочит чуть для налива, потом будем сухую погоду молить, с ярким солнцем, горячим, прямым, чтоб без поволоки на небе, зернышку для налива сухость и свет надобны. Всю пашню пройдешь ты с дедом, и пшеничку проверите, и рожь, она первой под серп подойдет, потому как озимая. Дальше греча, просо, подсолнухи, овес, ячмень – всего понемногу, и безо всего нельзя. Пшеничку на помол и на ярмонку, овес лошадям, гречу и просо на крупорухку к дяде Серафиму, подсолнухи желубить всей семьей и на давилню, оттуда масло привезут в корчагах. Приятно его подсолить и макать потом в блюдо теплой картошкой или даже хлебушком. Иной раз помятое семечко подцепишь, любопытно.

Тебе повеселело от этих воспоминаний, стало затягивать в то далекое теперь уже бытие, в котором столько было щемящего грудь и стесняющего дыханье. Той же осенью дед Максим поставил тебя к плугу. Пегуха уже не стригла ушами, кося глаз на незнакомого погонялу, помнила, видно, весеннюю бороньбу. Дед сам прошел первую борозду, ловко развернул плужок и позвал:

– Айда, Лавруша, берись оберучь за кичиги, держи плуг ровно, а я Пегуху поведу тихонько.

Ты и сейчас помнишь, как высоко взлетела душа, когда первый пласт вспаханной тобой земли легонько отвалился в сторону, освободив для пахаря и выровняв пашенное основание. Ты легко побежал за плугом, держась за кичиги, так, вроде, называл ручки дед Максим. Грачи, всегдашние созерцатели пахаря, деловито проходили бороздой, будто проверяя, сколь верно пашет новый работник. Иногда они шумно обсуждали что-то, и это тоже было музыкой весенней жизни. В конце гона дед остановил лошадь:

– Ну, пахарь, как тебе борозда? На всю жизнь запомни этот день, ласковой да сердешной. Первая в жизни своя борозда. На своей земле, матери-кормилице. А на чужой – ничто не в радость, одна усталость. Ты же мужик, напрок будешь сам пахать, я в твои лета так же начинал, только у нас с отцом была соха деревянная, тоже ничего, управлялись. И борозду свою первую помню. Потом женим тебя, ну, я не доживу, а отец тебе отведет и пашню, и покосы, станешь хозяин, а когда человек сам себе хозяин – запомни, Лавруша, он ни перед кем шапку не ломат, окромя Господа.

Дед Максим умер тихонько, вечером зыбку качал с младшеньким, а утром сноха зовет его первым блины есть, а он с полатей и голоса не подает. Хватили, а дед уж холодный. Отец тогда сильно в горе впал, все бабы выли, а ты не мог в толк взять, почему дед Максим, еще вчера учивший его правильно держать пилу-ножовку и рубанок, сегодня лежит на спине, молчит и сурово смотрит из-под медных пятак на глазах.

...Ты остановился, смахнул неожиданную слезу, присел на буреломную лесину. Пожевал хлеб с салом от Фили, отдохнул и снова на лыжи. Уже темнелось, когда вышел на знакомые места, лыжи пошли ходко, усталость пропала. Дома поставил лыжи под сарай, щепой оскоблил снег с пимов, вошел в избу.

– Тебя где носило двадни? Я уж испужалась, что заблудился в лесу. Поймал чего? Или как на простой?

– Порожняком, мама, нету зайца.

– Ладно, пожуй картошки да ложись спать. Тебе велено завтра в район добираться, в военкомат на проверку. Вон гумага лежит.

Достал из кармана куфайки остатки сала, начал жевать с теплой картошкой, а мать в куте онемело на тебя смотрит. Как ты того не подумал, что негде тебе в лесу сала взять, откуда оно у тебя? Мать пальцем тычет в стол, а сказать не может, свело всю. Ты вскочил, подхватил мать, посадил на лавку.

– У Филя был на кордоне, жив он и здоров, кланяться тебе велел.

– А дале-то как? Куда дале-то? Так и не увижу его, родную мою кровиночку. Всю он меня измотал, все сердчишко мое изорвал, все волосешки я, ревучи, повытянула из головенки, пока от колхоза бегал, дак хоть перед смертью поглядеть на него. Самый злосчастный и самый что ни на есть больной для сердца моего, Господи!

Охвати, Лавруша, больную свою голову руками, сдави, сожми, стисни, пусть мозги из последних сил соберут все в одну точку, чтобы понял ты, почему все так получилось. Взял ты в руки ту бумагу, повертел, положил на божничку, чтоб знать, где искать. А то кошка заиграл куда-нибудь в подполье. Залез на полати, ткнулся в давно несвежую постель, а Филя с ума не идет. Надо его вернуть домой, тогда все на место встанет. Тогда и погибель отца станет понятна, и что тебя изувечило можно принять, что братовья до сих пор лямку тянут в чужих землях – пускай, если это так надо. А Филька? Таскать говно у этого бандита? Ведь сказал же Филя, что цыгана того зарезал ночью. Он и брата может так запластнуть, чтобы следы отвести. И Филька измучился весь, ты видел, душа его вся истерзана, она хочет к праведному прибиться, а он боится. Ты это сразу заметил, что он смерти боится, жить хочет, он ни разу не сказал, что перед народом ему будет плохо, мутно, совестно, стыдно, страшно. Эка ему душу-то извернуло, она другой стороной наружу, испоганенной, изруганной, проклятой. А ему только это надо, чтобы жить, дышать, жрать, бабу вот ему хозяин привозит. Он еще тогда, в первом бою, в воронке, предъявил свое право жить, как хочет. Да нет, раньше, просто никто про это не знал, как они с Кузьмичом разбойничали. Ты вспомни, точно, доходили слухи, что грабят и убивают в городе, не Филька ли с Кузьмичом? Он же сам признал, что убивал. Только вроде сон накатит, опять брат на уме, опять думка. Так до утра и промучился.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.